

М. О. ГЕРШЕНЗОН

СТАТЬИ О ПУШКИНЕ

Со вступительной статьей

Леонида Гроссмана

ГЕРШЕНЗОН — ПИСАТЕЛЬ

ЯВЬ И СОН

Обыкновенное русское слово „забвение“ Пушкин рано наполнил своеобразным содержанием и с тех пор употреблял его как специальный термин. Именно, словом „забвение“ он обозначал то состояние личности, когда душа как бы вдруг обрывает все бесчетные действенные нити, непрестанно ткущиеся между нею и внешним миром, и замыкается в самой себе. Тогда по свидетельству Пушкина, душа инертна и глуха во вне, но тем более полна внутри себя привольной и радужной игры; точно чудом каким замрет — и мгновенно оживет внутренне для свободного творчества, для буйного цветения. „Забвением“ Пушкин и называл внешнюю форму этого состояния, — отрешенность души от мира, ее замкнутость, при чем он редко определял забвение точнее, как „забвенье жизни“ или „забвенье суеты земной“: обыкновенно он говорит просто „забвенье“ (словоупотребление — непривычное русскому языку, который выработал для данного понятия другое слово от того же корня: *забыть* ¹⁾). Внутреннее же состояние души в такие минуты он обозначал словами „сон“ или „сон души“; отсюда обычное у него выражение: „уснув душой“. Но этот сон, как сказано, по Пушкину полон движения.

Так он пишет стихотворение «К моей чернильнице»:

Беспечный сын природы,
Пока золотые годы
В забвеньи трачу я,
и т. д.

и о Татьяне в 3-й песне «Онегина»:

Вздыхает, и себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвеньи шепчет наизусть
Письмо для милого героя.

¹⁾ „Забвение“ по смыслу происходит от „забывать“, „забыть“ — от „забываться“, что и разумеет Пушкин под „забвением“. Таких перечеканок в пушкинском языке немало; например, он неизменно употреблял слово „ничтожество“ в совершенно несвойственном этому слову смысле *уничтожения*, *небытия*.

Многочисленные, совершенно однородные заявления Пушкина на протяжении многих лет не оставляют сомнения в том, что по его мысли (основанной, конечно, на его личном опыте), это состояние духа, когда, наглухо замкнувшись от мира, он живет сам в себе и собою, есть счастливейшее состояние. „Забвение“ для Пушкина — синоним „восторга“. Уже в 1818 году, изображая „поэта“, погруженного в чтение «Истории» Карамзина, он говорит:

И благодарными слезами
Карамзину приносит он
Живой души благодаренье
За миг восторга золотой,
За благотворное забвенье
Бесплодной суеты земной.

(Жуковскому, ранняя ред.)

и, прося у женщины любовного свидания, повторяет те же синонимы:

День восторгов, день забвенья
Нам наверное назначь

(Оленьке Масон).

В конце 8-й песни «Онегина», расставаясь с Онегиным, с Татьяной и своим романом, он пишет:

Я с вами знал
Все, что завидно для поэта:
Забвенье жизни в бурях света,
Беседу сладкую друзей.

Забиться — счастье, и почти все равно, в чем найти забвение:

Что нужды? — Ровно полчаса
Мне ум и сердце занимали
Твой ум и дикая краса,

и вслед затем:

Друзья! не все ль одно и то же
Забиться праздною душой
В блестящей зале, в модной ложе,
Или в кибитке кочевой?

(Калмычке).

В 1819-м и в 1832 г.г. он одинаково называет забвенье „сладким“:

В забвенье сладком ловит он
Ее волшебное дыханье

(Русл. и Людм. V)

Хотел я душу освежить,
Бывалой жизнью пожить
В забвеньи сладком близ друзей
Минувшей юности моей.

(Отрывок. 1832 г.)

Как уже сказано, с термином „забыться душой“ одно-
значен у Пушкина термин „заснуть душой“; например:

Уснув душой, безмолвно я грущу

(Уныние)

Приду ли вновь под сладостные тени
Душой заснуть на лоне мирной лени?

(Желание)

И в сладостный безгрешный сон
Душою погрузился он

(Онегин. IV, 11)

Заснуть душой — замкнуться от мира, стать слепым и
глухим во вне; так, о бедном рыцаре Пушкин говорит:

С той поры, заснув душою,
Он на женщин не смотрел.

Мы увидим дальше, что порою Пушкин в тех же строках без
различия перемежает оба термина: „забыться“ и „заснуть“,
„забвеньи“ и „сон“.

Как же живет дух в минуты этой блаженной отрешен-
ности? — По свидетельству Пушкина, дух живет тогда своим
собственным содержанием. И тут у Пушкина намечается
двойкий опыт: по его мысли иногда посторонний толчок по-
гружает душу в забвение, и она начинает жить сама в себе;
иногда же не что, возникшее в ней самой, внезапно вырывает
ее из явного бытия и на некоторое время наполняет ее своим
цветением, так что никакому внешнему восприятию уже нет
доступа в нее; т. е. известное интимное переживание души
является либо только содержанием „сна“, либо вместе и при-
чиной „забвения“, и содержанием „сна“.

Таковы прежде всего воспоминания, т. е. те внешние
восприятия, те чувства и мысли, причиненные извне, которые
к моменту отрешения уже ассимилированы духом и сделались
его личным достоянием. Эта связь „забвения“ с воспомина-
нием носит у Пушкина почти характер закономерности. Так
он говорит о Людмиле:

Иль, волю дав своим мечтам,
К родимым Киевским полям
В забвенье сердца улетает,
Отца и братьев обнимает,
Подружек видит молодых
И старых мамушек своих.
Забуты плен и разлученья!

(Русл. и Людм. IV)

Он забывался: в нем теснились
Воспоминанья прошлых дней.

(Кавказский Пленник)

Вновь нежным отроком, то пылким, то ленивым,
Мечтанья смутные в груди моей тая,
Скитался по лугам, по рощам молчаливым...
Поэтом забывался я!

И славных лет передо мною
Являлись вечные следы

(Восп. в Царск. Селе)

Быть может, в мысли нам приходит
Средь поэтического сна
Иная, старая весна

(Онегин. VII, 3)

...Я живу

Теперь не там, но верною мечтою
Люблю летать заснувши на яву,
В Коломну, к Покрову, и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.

(Дом. в Кол.)

В черновом наброске «Давно ли тайными судьбами» есть такие строки:

Но (часто) сердцем (душою) ищем усыпиться
В минувшем (времени) живем;

эти строки тут же переделаны так:

Но сердце тихим сном
В минувшем любит забываться.

В последней песне «Онегина» Пушкин рассказывает о своем герое:

И постепенно в усыпленье
И чувств, и дум впадает он,
И перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон.

То видит он на талом снеге,
Как-будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: „что ж? убит!“,
То видит он врагов забвенных,
Клеветников и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных,
То сельский дом — и у окна
Сидит она...

(Онегин. VIII, 37).

Даже в полном и окончательном отрешении души от внешней действительности еще сохраняется, по мысли Пушкина, воспоминание, — последняя тончайшая связь души с миром. Отшельник в «Руслане и Людмиле» говорит о себе:

Ах, и теперь, один, один,
Душой уснув в дверях могилы,
Я помню горесть и порой
Как о минувшем мысль родится,
По бороде моей седой
Слеза тяжелая катится.

(Русл. и Людм. I).

Таков и Пимен, умерший для мира, и однако „душой в минувшем погруженный“.

К одной категории с воспоминаниями относятся и другие переживания души, также внушенные извне, но ставшие личной собственностью данного духа. Таковы надежды:

В ней сердце, полное мучений,
Хранит надежды темный сон

(Онегин. III, 39).

Обманчивей и снов надежды,
Что слава?

(Разг. Книгопр. с Поэтом)

Неясных темных ожиданий
Обманчивый но сладкий сон

(Алексееву).

Таковы и переживания любви. Пушкин часто называет любовь „сном“, разумея в этих случаях под любовью, конечно, не объективное и конкретное явление любви, а тот почти отрешенный, глубоко личный комплекс чувствований, каким она становится внутри души. Любовь есть „сон души“, потому что она самодержавно господствует в душе, наглухо отрешая

ее от всей остальной действительности. Вот несколько примеров:

И горе жизни скоротечной,
И сны любви вспоминал.
(Друзьям)

Она поэту подарила
Младых восторгов первый сон.
(Онегин. II, 22)

Любви пленительные сны.
(Онегин. III, 13)

Как сон любви.
(Онегин. IV, 7)

„Не Гретхен ли?“
— О сон чудесной!
О, пламя чистое любви!
(Сц. из Фауста)

Как сон, как утренний туман
Любви сокрылось сновиденье
(Талисман, черн.).

Но воспоминания, надежды, любовные чувства — еще переживания, исшедшие из внешней действительности. Душа, по опыту Пушкина, живет в минуты забвения и вполне самобытными переживаниями, возникающими тут же, на полной свободе, без всякого воздействия извне. Поэтому всякое беспричинное и иррациональное порождение духа Пушкин неизменно называет „сном“. Он пишет в разные годы:

Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души
(Онегин. VI, 46)

И сердца трепетные сны.
(Онегин. VIII, 1)

Блажен...
Кто странным снам не предавался.
(Онегин. VIII, 10)

Странным сном
Бывает сердце полно.
(Дом. в Кол.)

Я ехал к вам: живые сны
За мной вились толпой игривой.
(Приметы).

В этом разряде самочинных переживаний души первое место по яркости и силе, а главное — по абсолютной необусловленности, по суверенному произволу возникновения и сцепления, занимают, конечно, образы фантазии. Причудливая игра воображения есть по Пушкину как бы специфическая деятельность души в ее отрешенном состоянии; или наоборот: грёза воображения, чуть вспыхнув, погружает душу в сон, как состояние, и сама есть сон в другом смысле этого слова — в смысле сновидения. Пушкин употребляет термин „сон воображения“ всегда в этом последнем смысле — сновидения, т. е. самобытной, необусловленной грёзы — и потому часто во множественном числе ¹⁾).

То был ли сон воображенья
Иль плач совы, иль зверя вой...

(Полтава)

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?

(Бахч. Фонт.)

Он любит сны воображенья

(Платон. люб.)

В моей утраченной весне
Как мало нужно было мне
Для милых снов воображенья.

(Алексееву, черн.)

Еще хранятся наслажденья
Для любопытства моего
Для милых снов воображенья!

(О, нет, мне жизнь не надоела).

И здесь, как всюду, интуитивное мышление Пушкина, или, если угодно, его интуитивное словоупотребление, развивается диалектически с строгой последовательностью: если всякое, даже случайное создание воображения есть „сон“, то

¹⁾ Речь идет здесь именно о грёзах воображения, — но надо заметить, что понятие воображения у Пушкина вообще шире: он и воспоминание считает функцией воображения, как показывают цитированные выше стихи об Онегине:

И перед ним воображенья
Свой пестрый мечет фараон,

после чего следует ряд картин памяти.

и грезы, порождаемые поэтической фантазией, эти стройные, гармонические образы творческого воображения — также ничто иное, как „сны“: создания души в ее наибольшей отрешенности от мира, наибольшей свободе и наибольшей напряженности, — „мечтанья неземного сна“. Пушкин так изображает процесс своего творчества:

Бывало, милые предметы ¹⁾
Не правда-ль милые предметы,
Которым за свои грехи
Писали втайне вы стихи,
Которым сердце посвящали,
Не все ли, русским языком
Владея слабо и с трудом,
Его так мило искажали
и т. п.

(III, 27.)

Мне снились и душа моя
Их образ тайный сохранила,
Их после Муза оживила:
Так я, беспечен, воспевал
И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира.

(Онегин. I, 57).

Он говорит в конце поэмы:

Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явились впервые мне.

(VIII, 50),

он говорит:

И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить.

(Разг. Книгопр. с Постом)

И вы заветные мечтанья,
Вы, признак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

(Онегин. VI, 36)

В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.

¹⁾ Под „милыми предметами“ Пушкин разумеет женщин, как объектов любви; так, в третьей песне «Онегина»:

Но нигде он не нарисовал так отчетливо картину отрешения души от мира и наступающей затем самобытной жизни ее, — этого внешнего омертвения и роскошного внутреннего цветения ее, как в следующих строках своей «Осени»:

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем, —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

Итак, по Пушкину, наряду с дневной, будничной жизнью души, когда вся ее внутренняя деятельность обусловлена извне, есть другая самобытная жизнь души, отрешенная от мира, — жизнь полной внутренней свободы; и эта жизнь лучше, выше той. То, что я рассказал здесь, только отчасти вскрывает эту мысль Пушкина — одно из его основных познаний и главный стержень его мировоззрения, как несомненно обнаружит будущая философская биография его. Вильгельм Гумбольдт сказал, что единственно неподвижный полюс человек носит в своей душе. С несравненной конкретностью, почти осязательно, он ощущал свое духовное бытие, как твердый обрыв среди зыби вод, как замкнутую, самодовлеющую, единственно реальную жизнь своей личности. Поэтому „явь“ была для него призраком и томлением, и только „сон“ — правдой и счастьем.